

Михаил Вартбург

КОНТАКТ ИЛИ КОНФЛИКТ?

В марте 1992 года в Иерусалимском клубе литераторов состоялся двухдневный симпозиум, посвященный проблемам русскоязычной литературы в Израиле.

Вот уже более 20 лет в Израиле живет и активно работает большая (и еще более усилившаяся в последнее время) группа прозаиков, поэтов, критиков, публицистов, литературоведов, пишущих на русском языке. Издаются романы, сборники рассказов, переводы, книги стихов, толстые журналы и еженедельники. Но что представляет собой вся эта продукция? Что это: своеобразная географическая «провинция» русской литературы или некий новый феномен – русскоязычная часть литературы израильской? В каком отношении находится она с этими литературами – контакта или конфликта?

Лет 10 назад аналогичный вопрос был поставлен на симпозиуме, проходившем в русском Зарубежье, среди писателей-эмигрантов. Там дело было проще. На вопрос: одна или две русских литературы? – подавляющее большинство авторов ответили: «Одна» – и оказались правы. Достаточно было рухнуть «железному занавесу», как вся эмигрантская литературная продукция совершенно естественным образом была перепечатана в России и благополучно вошла в состав единой русской литературы, словно никогда из него и не выходила, даже географически. Оно и понятно. Автор-эмигрант, уже по одному своему самоощущению, принадлежит покинутой стране и ее культуре, на них ориентируется в своем творчестве, об их проблемах пишет и написанное отдает прежде всего и главным образом на суд русского читателя. Даже если остается жить за рубежом. Разве не писали за рубежом Гоголь, Тургенев, Бунин, Федотов, Цветаева и многие другие? Есть, конечно, и не столь однозначные ситуации – Набокова, Бродского, – но именно их исключительность подчеркивает закономерность массового правила.

Где же в этом раскладе место литературы на русском языке, создаваемой в Израиле? Она вроде бы не ориентирована на Россию, на ее проблемы и ее читателя, да и авторы-репатрианты тоже как будто в подавляющей части не ощущают себя «русскими, находящимися за рубежом». Поэтому назвать ее органической частью русской литературы как-то не поворачивается язык. Тогда появляется определение – «израильская русскоязычная литература». Второе прилагательное здесь не случайно. Оно намекает, что общность с русской литературой ограничивается только языком, но не затрагивает сути: поэтому не

просто «русская», а именно «русскаяязычная». Уже это может стать предметом споров. Как сказал на симпозиуме писатель Ю. Карабчиевский, «любая серьезная зарубежная библиотека отнесет эти книги в раздел «русской литературы», где бы они ни были изданы, в Европе, Америке, Израиле или России, по одному лишь признаку языка, на котором они написаны». На что оппонент Карабчиевского, поэт М. Генделев, резонно возразил, что произведения канадских авторов, пишущих по-французски, та же библиотека, наверняка, отнесет все-таки к разделу канадской, а не французской литературы. Но если согласиться с этим возражением, то немедленно возникает другой вопрос: какие же признаки определяют принадлежность произведений, написанных по-русски в Израиле, к собственно «израильской» литературе? Можно ли указать объективные особенности русскоязычной литературы в Израиле, объединяющие ее в единое целое и отличающие от литературы «собственно русской» (сверх еврейского самосознания, израильской принадлежности или сионистской идеологии автора)? И если да, то какие?

Все эти сомнения и недоумения заявили о себе на симпозиуме с первых же минут. Большинство выступавших явно чувствовало необходимость так или иначе соотнестись с тезисом о существовании (или несуществовании) особой «израильской русскоязычной литературы», и это предопределило немедленное выявление двух противостоящих лагерей. Характерно, однако, что линия раздела не совпадала с делением литераторов на «новичков» и «старожилов», как могло бы на первый взгляд показаться. Защитники и оппоненты указанного тезиса обнаружались в обоих «поколениях». Первая попытка охарактеризовать специфику литературной ситуации в Израиле была предпринята в открывшем симпозиум докладе критика и переводчика Р. Нудельмана, которого, несомненно, следует отнести к «старожилам».

«С двумя потоками алии – 70-х и 90-х годов – в Израиль прибыли две большие группы литераторов, пишущих на русском языке, – сказал докладчик – Первая группа состояла, в основном, из нереализовавших себя в России авторов, сформированных специфической атмосферой советских 60-х годов, когда социальный престиж литературы, особенно диссидентской, находился в апогее, и она обрела статус ведущей идеологической силы. Многие из этих авторов вместе с опытом демократического диссидентства принесли с собой и специфически еврейско-сионистскую «идеологию Исхода». Эти два обстоятельства во многом предопределили судьбу группы в Израиле. Литераторы-репатрианты заявили высокие социальные и идеологические притязания, претендуя на ведущую роль в духовной жизни репатриантской общины и престижное место в израильской культуре. К сожалению, их отношения с репатриантской средой и израильской культурой сложились неблагоприятно.

Израильское общество уже имело к тому времени испытанную «культурную

модель израильтянина» («сабра, говорящий на иврите»), которая предлагалась в качестве образца всем вновь прибывающим группам. Репатриантские авторы не хотели, да и не могли отказаться ни от своего языка, ни от своей культурной модели. В результате между двумя литературами надолго установились отношения взаимного высокомерного игнорирования. С другой стороны, репатриантская масса с определенной готовностью приняла израильскую модель. Она успешно пошла по пути языковой, профессиональной и социальной интеграции и очень скоро утратила интерес к своим авторам. Эти авторы не могли удовлетворить ни массового интереса своих читателей к познанию израильской действительности, которую не отражали, ни их сохраняющегося интереса в отношении действительности советской, связи с которой утрачивали с каждым годом. Постепенно репатриантский рынок для этих авторов стал сужаться. В результате, русскоязычная литературная группа оказалась в почти полной зависимости от «третьей силы» – израильских государственных дотаций.

На протяжении ряда лет эта зависимость была едва ли не главным социологическим фактором всей литературной ситуации. В условиях отсутствия собственного рынка израильская бюрократия оказалась той единственной силой, которая поддерживала существование литераторов. Бюрократический и идеологический истеблишмент создал искусственную «нишу» в виде системы учреждений, служб и рабочих мест на государственной дотации для абсорбции репатриантов-гуманитариев. Часть их была «кооптирована» на ролях посредников (всевозможных консультантов, кураторов и цензоров русскоязычной продукции); часть получила работу на радио, телевидении, в издательствах и журналах, на кафедрах; некоторые годами пробавлялись случайными заработками. В этой обстановке литераторы не могли реализовать свои престижные притязания. Оставалось реализовывать их в рамках собственного литературного круга. Стремление к такой реализации привело к появлению и размежеванию отдельных подгрупп с их собственными салонными иерархиями, собственными «гениями» и «талантами».

Ограниченность и бедность государственной «ниши» не позволяла реализовать и социальные притязания литераторов. В попытках удовлетворить эти притязания часть авторов взяла курс на завоевание дотаций для субсидированных изданий своих книг; другие стали поворачиваться в сторону русского эмигрантского рынка; третьи начали спланиваться вокруг местных русскоязычных журналов. Соответственно, каждая из этих подгрупп сдвигалась к своей «идеологии», отражавшей ее связи с тем или иным культурным рынком и помогавшей этот рынок завоевать. Одни подчеркивали принадлежность к общей русской культуре, другие – свою «израильскую принадлежность», подчеркнуто противопоставленную «русской» или «эмигрантской». Среди последних складывалось представление о себе как о создателях специфической «израильской русско-

язычной литературы». Эта самооценка в немалой степени подпитывалась вполне искренними национально-сионистскими убеждениями соответствующих авторов. С другой стороны, идеология «израильской принадлежности» играла, конечно, и конкурентную роль. Израильская бюрократия благосклонно воспринимала такие изъявления «патриотизма». Но и на русском эмигрантском рынке этикетка особой «израильской русскоязычной литературы» могла служить своеобразным престижным знаком, выделяющим ее авторов; еще большее значение она могла иметь на рынке общерусском, где заграничные этикетки котировались выше отечественных. В конечном счете, она не только удовлетворяла престижные притязания литераторов, но и косвенным образом легитимизировала их существование как особой группы, а тем самым как бы «подтверждала» их внутригрупповую иерархию.

Но была ли эта продукция действительно особой литературой? Стороннему наблюдателю положение могло бы показаться, скорее, парадоксальным. С одной стороны, существовала некая совокупность текстов, объединенных более или менее отчетливым сознанием национально-исторической и политической принадлежности; с другой стороны, за этими текстами не стояла никакая широкая социальная действительность – русская, израильская или хотя бы репатриантская, которую они бы отражали. Поэзия была преимущественно ностальгической, проза и драматургия бесконечно воспроизводили темы советского антисемитизма, Исхода и «первых шагов репатрианта», в публицистике преобладали пылкие дискуссии о «правоте сионистского дела», глобальные сопоставления русской и еврейской истории и эссеистика общекультурного направления. С одной стороны, имели место все признаки того, что называется литературной жизнью: «союз писателей, пишущих по-русски», журналы, салоны с их борьбой и т.п.; с другой – вся эта литературная жизнь кипела, как в вакууме. С одной стороны, провозглашалась «израильская принадлежность» текстов; с другой, – авторы втайне мечтали завоевать престиж на том самом общерусском культурном поле, которому себя противопоставляли. С одной стороны, провозглашалось существование особой «израильской русскоязычной литературы»; с другой, – в силу социальной и профессиональной изоляции – консервировались архаические жанровые и эстетические особенности советской культуры 60-х годов с ее приоритетом идеологии и диссидентски-самиздатским духом.

Возможно, выход этой литературы на общезраильский или общерусский рынок и противопоставление себя другим действительно могли бы дать толчок ее становлению как специфической и особой. Но по ряду причин этого не произошло. В результате к концу 80-х годов наметился явный застой: количество текстов заметно сократилось; проза и драматургия почти сошли на-нет; публицистика, не сумевшая глубоко освоить израильскую проблематику и потому повторявшая свои однообразно «глобальные» темы, стала выдыхаться или чер-

пать вдохновение в «советологии»; литературоведение и культурология начали все больше ориентироваться на проблемы русской и советской культуры. Многие авторы и даже целые журналы попросту эмигрировали, другие влачили полунищенское существование, ряд книг годами не находил издателей.

Именно в это время и в этих условиях начала прибывать в Израиль вторая группа литераторов-репатриантов. Они сформировались, в основном, в атмосфере советских 80-х годов, с ее деидеологизацией и асоциализацией, ее неофициальными литературными салонами, культивировавшими эстетическую независимость, ироническую отстраненность, литературный эксперимент и социально-идеологический эпатаж. Этим литераторов характеризовало отсутствие сионистской или национальной идеологии и низкий интерес к отвлеченным социальным или идеологическим проблемам вообще. У них было также меньше социальных притязаний. Наконец, они глубже ощущали свою связь с новейшей русской культурой и, в отличие от литераторов «первой волны», не противопоставляли себя ей. Для них было более привычным объединение по эстетическим, а не идеологическим критериям. В противовес «шестидесятникам» с их коллективистским этосом и общественно-идеологическим пафосом, они представляли собой, в основном, этос сугубо индивидуалистский.

Определенное противостояние обеих групп было неизбежным. Столь же неизбежной, однако, была и их постепенная конвергенция и новое социальное, идеологическое и профессиональное размежевание. Появление авторов, еще не утративших живые связи с Россией, заново поставило проблему «русской» или «израильской» принадлежности. Но теперь она возродилась в новых условиях, потому что массовая алия гуманитариев сделала куда более острыми вопросы чисто социального и профессионального выживания.

Надежды, возлагавшиеся на расширившийся репатриантский рынок, не оправдались. Несмотря на появление сотен тысяч новых потенциальных читателей, этот рынок практически не расширился – частично из-за откровенной бедности былых «потребителей культуры» или смены их социальных приоритетов, частично – из-за их ориентированности на ставшую широко доступной советскую продукцию (которая вошла на израильский рынок гораздо энергичней, чем израильская на советский). Не сбылись и надежды на ставший свободным русский рынок. После краткого увлечения зарубежной продукцией и литературой «андерграунда», он стал чисто коммерческим. Но самым тяжелым ударом для русскоязычных литераторов в Израиле оказалось резкое сужение государственно-бюрократической «ниши», прежде худо-бедно обеспечивавшей их существование. И без того не подготовленная к абсорбции такого числа гуманитариев, израильская государственная бюрократия стала утрачивать интерес к привлечению на свою сторону русского еврейства.

Результатом всех этих процессов оказалось продолжающееся исчезновение

серьезных журналов и независимых издательств, дальнейшее сокращение издаваемой продукции, еще большее вытеснение авторов в условия «самиздата». В этих условиях израильской русскоязычной литературе (и шире – культуре), что бы ни понимать под этим термином, грозит медленное удушье или полная коммерциализация. Перед лицом этой надвигающейся социальной угрозы споры о ее своеобразии и дальних перспективах становятся чисто академическими.»

Апокалиптический прогноз Р. Нудельмана не нашел отклика среди участников симпозиума. Дискуссия сосредоточилась на более близких и жгучих проблемах. Одной из них, по мнению прибывшего в страну несколько лет назад писателя и поэта Анатолия Добровича, психолога по профессии, является уже упомянутое противостояние «двух поколений» русскоязычных литераторов. А. Добрович считает это противостояние важной проблемой, потому что оно отражает некий объективный «конфликт умонастроений», который может существенно повлиять на будущую ориентацию израильской русскоязычной литературы в целом, а стало быть – и на ее судьбу. С другой стороны, анализ этого конфликта приближает к пониманию психологии и идеологии обеих групп.

«Каждый из старожилов, оказавшись в Израиле, пережил нечто вроде клинической смерти – неокончательную культурную смерть. Некоторые впали в панику и уехали. Оставшихся и укоренившихся поддерживала так или иначе понимаемая сионистская идея. Поэтому свою культурную смерть они не отождествили с духовной смертью, напротив – приняли вызов судьбы и сохранились как духовно, так и в качестве авторов, пишущих по-русски, но эмоциями и помыслами принадлежащих этой стране. Подобный труд души дается нелегко, поэтому их раздражает всякий, кто от этого труда уклоняется или декларирует, что намерен уклониться».

Но дело не исчерпывается этим. «При всей напряженной работе души на дне ее все еще живет страх: а вдруг, выпав из речевого и событийного поля России, они погубили себя, не состоявшись в качестве литераторов? Чтобы заглушить этот страх, всячески педалируются темы: «Слава Богу, что мы не в России», «Как отвратительно все русское и советское», «Как замечательно, что мы у себя дома». Всякий, кто осмелится этому перечить, принимается в штыки».

Свою роль играет также сложившаяся групповая замкнутость. «Появляется странная, болезненная привилегия – быть одним из немногих, но избранных, божественно говорящих и крепко пишущих на никому не нужном, но необычайно изысканном языке... И вдруг появляются толпами носители этого языка. И фигура начинает теряться в фоне... Опасность утраты сомнительного, но все же ощутимого душевного комфорта, который так трудно достался, делает литераторов-старожилов порой до неприличия агрессивными, вплоть до очернения алии в ивритской прессе: нам-де грозит опасность, навалили чужие,

мерзкие, культурно одичалые, враги сионизма. А в подтексте крик души: «Я не такой, прошу не путать».

У новичков – своя психологическая драма. «Со старожилыми их роднит, среди прочего, чисто российская жажда «иметь значение» в культуре». Но кроме сходства претензий есть еще различие побуждений. «Новоприбывшие не всегда отдают себе отчет в том, до какой степени их душа настоена на христианстве. И хотя многие из них вполне сознают себя евреями, но это дела не меняет, поскольку еврей для них – космополит, универсалист и интеллигент, а не какой-нибудь фалафельщик с рынка. Не давая себе труда вникнуть в совершенно иную форму мировосприятия, они полны решимости «улучшить» местную культуру. «К тому же им кажется, что старожилы пытаются заткнуть им рты. «Отсюда их озлобленность в отношении местных русских сочинителей, возмнивших себя законодателями литературной моды».

В этом психологическом конфликте А. Добрович принимает сторону «новичков»: «Из двух ожесточенно спорящих неправ тот, кто умнее». Но куда важнее «правоты» того или иного «поколения» оказывается тот факт, что оба они принадлежат к одной и той же социально-профессиональной группе с единой судьбой. Какова эта судьба? Могут ли они выжить как особая литературная группа? Писатель и публицист Александр Этерман, уже несколько лет живущий и пишущий в Израиле, снова вернулся к этому вопросу, подчеркнув, что в сравнении с ним проблемы самоопределения и противостояния представляются надуманными. «Интенсивность споров о природе культуры на русском языке в Израиле, безусловно, свидетельствует о существовании стоящей за ними реальной проблемы. Но это вовсе не значит, что проблема правильно поставлена или даже названа. Нас чаще всего заботит, оригинальны и самостоятельны ли мы как культурное явление, то есть первородно ли русская мы культура или только русскоязычная; те же из нас, кто уже смирился со второй альтернативой или заинтересован в ней, озабочены тем, чтобы за ними признали раз уж не право на независимость, то хотя бы на автономию – как будто вообще бывает культурная автономия иначе как в административном смысле.

На наш взгляд, более важным является вопрос о том, почему новая четырехсоттысячная алия из СССР, утроившая русскоязычное население Израиля, несколько не увеличила число подписчиков замечательного литературного журнала «Двадцать два». Не «почему не утроила», а почему «не увеличила» вообще? Или, скажем, не создала ему конкурентов?

Столь же естественно спросить: почему ни одну вышедшую в Израиле русскую книгу невозможно продать даже в пятистах экземплярах? Или: почему русские газеты не в состоянии создать «селебрити» (звезду, знаменитость), поднять шумиху вокруг явления, события или человека, если только речь не идет об ипотечной ссуде? Или: почему ни одна «русская» партия не прошла и, как теперь

уже можно с немалой уверенностью утверждать, до 1996 года не пройдет в Кнесет?»

А. Этерман предложил свой ответ на все эти вопросы - ответ, не внушающий особого оптимизма. «Пытаясь объяснить немногочисленные упомянутые и многочисленные неупомянутые странности культурного поведения языково-туристических меньшинств, мы сталкиваемся с не новой, кажется, закономерностью.

Для того, чтобы вступил в действие антропологический механизм культурного процесса, гарантирующий динамическое равновесие между культурным производством и потреблением, и сработали правила, позволяющие заинтересовать массы, вовлечь их в оный культурный процесс и создать естественную конкуренцию деятелей культуры (за кошелек покупателя, а не за правительственные пособия), а тем самым - полноценную, хотя, быть может, и грязноватую культурную жизнь, необходимо, чтобы и создатели, и потребители культуры существовали в рамках общей для них компактной социальной пирамиды. То есть: если бы репатрианты из России образовывали государство в государстве - со своими богачами и бедняками, вождями и ведомыми, гангстерами и филантропами - то в рамках этого государства не только мог бы развернуться, но и с неизбежностью развернулся бы культурный процесс.

Однако они - репатрианты из России - вовсе не образуют компактной общности. Они вписаны - лучше или хуже - в существующую и помимо них социальную пирамиду; при этом вовсе не факт, что они в ней интегрированы и стали ее частью, несомненным фактом является только отсутствие их собственной, независимой пирамидальной структуры - а, следовательно, и возможности отдельного социального существования, будь то существование культурное, экономическое или политическое».

Объяснение А. Этермана подвергает сомнению принципиальную возможность возникновения в Израиле условий для полноценной русскоязычной культурной жизни, поскольку для такой жизни, по его убеждению, нет исходных социально-антропологических условий. «Забавно упорство тех, кто прилагает огромные усилия, чтобы сделать такую жизнь возможной. Дело, видимо, в том, что им нехватает вовсе не литературы, а социального признания, завоевать которое они надеются, одержав победу в нашей дискуссии. Но что у дискуссии общего с реальностью? Увы - истина выясняется отнюдь не в споре.»

Тем не менее место для ограниченного оптимизма все же остается. «Все вышеизложенное, - заключил А. Этерман, - отнюдь не означает, что в социальной эмиграции не могут быть созданы замечательные литературные произведения. Искусство во все времена было делом индивидуальным. Всяко бывает. Родину вполне можно унести на подошвах башмаков. Общество - нет... Но, в конце концов, художник, скорее всего, не должен ставить перед собой растинья-

ковскую задачу завоевать окружающий мир. Вполне достаточно завоевать место на книжной полке лет через сто-сто пятьдесят».

Однако, именно эту возможность – «завоевать место на книжной полке лет через сто-сто пятьдесят» – резко отрицал московский гость, писатель Юрий Карабчиевский. Он поставил под сомнение тезис об абсолютной индивидуальности, суверенности творческого процесса. «Казалось бы, какая разница, где именно, на чьей территории, поставить писателю свою русскую или, скажем, русскоязычную пишущую машинку? Каждый пишет один, сам за себя, талант – он повсюду талант... Но дело в том, что искусство полно парадоксов. Конечно же, каждый пишет один, но верно и то, что в одиночку никто не пишет, а всегда в соавторстве с тем литературным контекстом, в котором существует, осознанно или неосознанно. Ни один серьезный писатель не может уйти от ответа на простейшие, но и главные вопросы творчества: как писать, о чем писать и к кому обращаться? А если не уклоняться от этих вопросов, то мы приходим к неизбежному выводу: полноценная литература на русском языке в Израиле невозможна в принципе».

Однако, отнюдь не по тем причинам, которые назвал А. Этерман. «Русский писатель, б России пишущий и к русскому читателю обращенный, просто физически не может жить в Израиле. В Америке может, а в Израиле нет. Потому что переезд из России в Америку – это как бы полная приватизация жизни, смена общей судьбы на личную, а переезд из России в Израиль – это смена одной общей судьбы на другую общую. Жить в Израиле и быть эмигрантом – невозможно практически, да и незачем, да и, строго говоря, непорядочно. И поэтому истинно русский писатель в Израиле перестанет писать или уедет. Остается один вариант – нерусский писатель; автор, сознательно исключивший себя из русского литературного контекста, сохранивший от него лишь язык как средство выражения мыслей и чувств, пишущий об Израиле – и не только об Израиле – и мысленно обращенный к израильским русским читателям, которых вроде бы становится все больше и больше». Это определение, на первый взгляд, как раз и совпадает с самоощущением – и декларациями – сторонников «израильской русскоязычной литературы», но именно этот вариант представляется Ю. Карабчиевскому самым бесперспективным. «Дело в том, что важнейшим исходным импульсом ко всякому творчеству является стремление автора к бессмертию. Книга должна пережить автора». (Вот оно, «место на книжной полке»!) «Всякий серьезный автор, обращаясь к современникам, обращается еще непременно и к потомкам, говорящим на одном с ним языке. Но таких потомков у русско-пишущего автора в Израиле быть не может, потому что русский Израиль – это общество без будущего, потому что при любой численности русской общины в этой стране ее сверхзадача – исчезновение. Если наши дети еще говорят и читают по-русски, то наши внуки читать по-русски уж точно не будут».

Этот невеселый прогноз вызвал резкие и темпераментные возражения. «Нам говорят, что нас нет!» – воскликнул поэт Александр Бараш. Журналист Дмитрий Сливняк заявил, что логика Ю. Карабчиевского сомнительна: несмотря на свободное владение ивритом многие репатрианты сохраняют интерес к русскоязычной литературе, потому что она, в отличие от ивритской, говорит на языке знакомых им парадигм. Но легко заметить, что это не снимает вопроса: будут ли эти парадигмы столь же знакомы их «внукам», о которых говорил Карабчиевский?

Неожиданную поддержку гость из Москвы получил от поэта из «нового поколения» («по совместительству», как и А. Добрович, психолога) Исаака Розовского. «Русскоязычная литература в Израиле, несомненно, является фикцией. Я бы даже сказал, что это – объективная иллюзия, данная нам в ощущениях». По мнению И. Розовского, установка на обособление от русской литературы выражает, скорее, стремление выдать желаемое за действительное. Отсюда – чрезмерно острая реакция на выступление Карабчиевского, в котором литераторы, претендующие на свою «особость», увидели как бы «окончательный приговор» самой русской литературы, такой особости не признающей. Для Розовского как для психолога такое упорное настаивание на «излишней и притом уродливой языковой конструкции, вроде «израильской русскоязычной литературы», да к тому же вызывающей повышенные эмоциональные реакции, является несомненным знаком наличия за этой конструкцией некой психологической проблемы». Проблема эта порождена душевным конфликтом, с которым сталкивается литератор-репатриант, оказавшись в новой среде, и который он пытается «снять» с помощью различных объективных или субъективных уловок. «Конфликт этот писатель может пытаться устранить объективно – например, перейдя на иврит, перестав писать вообще или уехав из страны; но если он этого не делает и остается в своем качестве израильтянина и при этом пишущего по-русски, единственное, что ему остается, – это субъективно интерпретировать свою ситуацию таким образом, чтобы смягчить этот конфликт, иными словами – прибегнуть к какой-то системе психологической защиты».

По Розовскому, тезис о принадлежности к особой «израильской русскоязычной литературе» как раз и призван выполнять роль такой защиты. «Конфликт с самого начала объявляется несуществующим. Достигается это с помощью своеобразного истолкования марксистского тезиса «бытие определяет сознание»: раз мы оказались в новой среде, то изменившееся бытие делает иными не только нас самих, но и наше творчество. Само пребывание в Израиле якобы делает нашу литературу не русской, а израильско-русскоязычной».

Утверждение это сомнительно, считает Розовский, но психологически оно работает достаточно хорошо. «Человек, добровольно выписавшийся из русской литературы и не прописавшийся по-настоящему в израильской, оказывается как

бы в некоем промежутке, в условном пространстве, на ничейной земле, где он чувствует себя полным хозяином – может создавать новые иерархии, новые ранги и так далее. Другое дело, что, начиная преобразовывать это условное, воображаемое пространство, он так или иначе строит его по образу и подобию своей прежней реальности, иными словами – выстраивает уменьшенную копию, карикатуру тех социальных атрибутов и функций, которые имели место в прежней реальности». Розовский указывает и на другие отрицательные стороны психологической защиты такого рода. «Главной из них является то, что она деформирует реальность, не допускает трезвой самооценки, порождает всевозможные фрустрации второго порядка. Она делает творчество не спонтанным, а идеологически мотивированным, по сути дела – партийным: человек своим творчеством пытается доказать верность той психологической защиты, которую он сам для себя создал... В принципе, эта защита является чрезвычайно шаткой, и человеку не удастся убедить себя в ее верности до конца; отсюда – постоянная угроза «разоблачения», чувство собственной ущербности и неполноценности».

С выводами А. Этермана, Ю. Карабчиевского и И. Розовского решительно не согласился другой представитель «новичков» поэт Д. Кудрявцев. Он темпераментно защищал тезис о возможности возникновения в Израиле особой «израильской литературы на русском языке», настаивая на той (иронически обозначенной И. Розовским как «марксистская») мысли, что эта «особая литература» порождается самим фактом своего становления в особой, израильской среде. «Возможно, в Израиле и не существует какой-то особой русскоязычной литературы, – сказал Д. Кудрявцев, – но не существует и литературы русской: в Израиле может существовать только израильская литература. Посмотрите на политическую карту Израиля. Партия Шинуй призывает войти в Европейское сообщество, партия Шас отстаивает интересы верующих-сефардов, партия Ликуд опирается на рынок Махане Иегуда и так далее; тем не менее все это – израильские партии. Даже арабские партии, выступающие против государства Израиль и считающие своим основным языком арабский, и те остаются израильскими, и не потому, что местом их нахождения является Израиль, а потому, что само их существование связано с Израилем. То же относится к литературе». Самосознание писателя, групповая идеология, авторская позиция – все это дело десятое. «Русскоязычный писатель Михаил Федотов, занимающий позицию «внутреннего эмигранта», остается израильским писателем в той же мере, как сознающий себя израильянином поэт Михаил Генделев или политический эмигрант Израиль Шамир, публикующий антиизраильские статьи в советском журнале «Наш современник». В конечном счете, весь этот спектр позиций можно найти и в ивритоязычной литературе – достаточно сравнить Амоса Оза, Дана Бен-Амоца и Агнона. Все, что делается здесь на любом языке, – это израильская литература, потому что она написана в Израиле и благодаря существованию

Израиля. Критерием принадлежности литературы является не «ориентация на метрополию» и не «не-ориентация на метрополию» – этим критерием являются факторы, формирующие литературу. Если таким фактором является советская поэтика, это означает всего лишь, что какие-то произведения израильской литературы сформированы духом советской поэтики; от этого они не становятся менее израильскими. Исходя из этого, и нужно формулировать, что мы хотим назвать русскоязычной литературой в Израиле. А хотим мы назвать ею наше желание, чтобы наши тексты формировались той действительностью, в которой мы живем».

То «хотение», о котором говорил Д. Кудрявцев, встревожило поэтессу «нового поколения» Елену Игнатову. Она увидела в нем своеобразную «идеологическую установку», последствия которой могут деформировать литературное творчество и самую литературу не меньше, чем те психологические влияния, о которых говорил И. Розовский, хотя и в иной плоскости. Верность предвзятой идеологии ведет к агрессивной групповой замкнутости и подмене литературных ориентиров внелитературными. По ее убеждению, это уже происходит. «Пока мы периодически рассуждаем, какой должна быть израильская литература на русском языке, – сказала она, – эта литература, на мой взгляд, уже обретает если не вполне законченный облик, то отчетливый вектор развития, предлагаемый «основателями», главным образом – из предыдущей волны алии.

Бытует расхожее мнение, что, ориентируясь на русскую культуру, русскоязычная в Израиле рискует стать культурной провинцией. Но подлинная культура не может быть провинциальной, она в принципе ориентирована на размокнутость и открытость к другим. Единственная позиция, действительно грозящая провинциальностью, – это агрессивное отрицание всего «не своего», принципиальная идеологическая замкнутость, стремление подчинить литературу неким идеологическим установкам, в духе внелитературных нужд и рецептов, как это было характерно для советской литературы 30-х годов... Посмотрим же, как у нас обстоят отношения с другими культурами, с русской и европейской. Из Пушкина нам важнее всего «Ко мне постучался презренный еврей», из Гоголя – Янкель из «Тараса Бульбы», Достоевский и Чехов – антисемиты, Блок – и вовсе «нацист»! Не так давно один из «идеологов» «израильской русскоязычной литературы» почти с сожалением заметил, что за Львом Толстым «ничего такого» не замечено; однако, уже в статье М. Генделева «Вернись, я все прощу» в списке «убежденнейших антисемитов» есть «Толстые А. К. и Л. Н.» (оба сразу, чтоб не чикаться, – знай наших!). Не лучше обстоят дела и, скажем, с английской литературой: Шекспир, Чосер, Честертон – антисемиты и т. п. В общем, «оглянешься – а кругом враги», как писал советский поэт Э. Багрицкий. В итоге нам остается идеологически выдержанная пустыня с редкими, уцелевшими после «чистки» именами; всему прочему мы говорим «Нет!»

Свою филиппику против подчинения литературы предвзятым идеологическим схемам Е. Игнатова кончила словами: «Здесь не место останавливаться на причинах «советизации» современной русскоязычной литературы в Израиле. Ее идеология создавалась в 70-х годах. Она рождалась на кухнях иерусалимского пригорода Неве-Якова в то же самое время, когда мы на кухнях Москвы и Ленинграда создавали «литературу андерграунда», столь же искренне полагая, что она способна заменить и заместить все существующее. Этого не случилось. Культура не создается «по одну сторону баррикады», и вообще – баррикады ей противопоказаны. И мне хочется пожелать нашей литературе, прежде всего, большей открытости, широты и терпимости ко всему, что не вмещается в ее установки и рамки. В противном случае неизбежна ситуация, которую можно определить, перефразируя В. Катаева, – «Время, назад!»

Опасения Е. Игнатовой получили определенное подтверждение в докладе литературоведа-«старожила» доктора Елены Толстой, которая посвятила свое выступление конкретному и детальному анализу содержания и поэтики массовой русскоязычной продукции в Израиле. Этот анализ был одновременно и своеобразным ответом на вопрос, существуют ли общие приметы этой совокупности текстов и каковы они объективно. «Русскоязычная литература в Израиле, – сказала Е. Толстая, – это самая запуганная и закомплексованная литература на свете: со всех сторон ей твердят, что ее не может быть и что тот факт, что она все-таки существует, есть факт множественной государственной измены. Поэтому ее жизненный нерв – это сам этот комплекс неполноценности, а содержание – рефлексия по поводу собственной невозможности. По той же причине поэтика этой литературы располагается между истерическим самоистреблением и истерическим самоутверждением».

В качестве примера, ярко подтверждающего этот тезис, Е. Толстая взялась рассмотреть корпус текстов, повествующих о психологических и бытовых реалиях переезда и жизни на новом месте русского интеллигентского круга 70-х – 80-х годов. «Самая неприятная черта этой литературы, роднящая ее и с другими репатриантскими текстами, – это некий культурный синкретизм: она слишком художественна, чтобы быть коммерческой, и слишком коммерческая, чтобы быть художественной; слишком слякливо-лирична, чтобы быть «проклятой», как ей иногда хочется, и слишком мелко-социальна, чтобы в чем-то всерьез разобратся. Ее сюрреалистические ходы выводят к плотной модели мира, дикие парадоксы стиля сочетаются со стереотипами в построении сюжета и образов, а мистические позывы и подвывы глохнут в пространстве, натурфилософски никак не ориентированном. Это лоскутная литература. Она напоминает тетку с «фиксой» в платье от Диора».

Далее Е. Толстая остановилась на отдельных особенностях, образующих жесткие конструктивные пружины, выпирающие из-под претенциозной «ху-

дожественности» этой беллетристики. «Ее идеология – это, прежде всего, апология репатриации и запальчиво полемическое обоснование правильности сделанного выбора. Главной ценностью провозглашается новая среда. Она вводится с помощью топонимики, желательно универсально-престижной, с ореолом вечности и библейским бряцанием. Задействованы также экзотично-заманчивые ботанические, этнографические и, в особенности, гастрономические доводы. Убедительнее всего низшие – вкусовые, тактильные, олеофакторные – восприятия, призванные возбудить в потенциальном читателе физиологическую, чувственную зависть. Для достоверности подпускается что-либо гадкое. Но главный и наповальный довод «за» – это военная тема. Ее решение напоминает старинные фотографии – прорезь для лица на нарисованном коне в нарисованном башлыке и с шашкой наголо. Не менее важна и тема «новой сексуальности» – описание различных загорелых частей тела местных (или «перемещенных») секс-объектов. Самые же глупые авторы добавляют также марки машин и интерьеры вилл. Удивительно, что, судя по барахольной подробности, вся эта беллетристика должна была бы быть женской, однако является чуть ли не исключительно мужской; женщины-прозаики, напротив, по-мужски brutальны».

Апологетическая «сверхзадача» этой литературы посредует в ее сюжете, стиле и герое. «Сюжет, чаще всего, – это противостояние героя чужой и странной среде. Оно снимается тем, что загадочный и непроницаемый оппонент героя, «сабра», в конце концов, оказывается «своим»: либо своим – неожиданно хорошим (помогает герою, гибнет вместо него), либо своим – хорошим или плохим, но как-то, биографически или исторически, связанным с героем/Россией: 70-е годы все еще бредят лагерной темой, и часто «антагонист» оборачивается лагерным предателем, бывшим следователем, старым подонком в новой маске. Либо, соответственно, жертвой Гулага или Катастрофы».

Снятие конфликта может происходить также через стиль. «Новая среда – солнце, жара, пыль, камни – неизменно подается как слепое, глухое, мертвое, ветхое, как «прах и тлен» (с явным намеком на несомую ими смерть); но одновременно «вечный воздух» дрожит, слепит и поет, «столпы света» играют, отчаявшийся герой растворяется в хрестоматийном ландшафте и воскресает «в духе» под развесистым шофаром. Направо протекает Кидрон.

Но точно так же герой может возродиться, и нюхнув ортодоксальной пыли в каких-то архитектурно подозрительных переулках, где все те же столпы света и мистическая дрожь окажутся эманациями какого-нибудь местного экстрасенса.

Одним словом, все бедно и убого, но чем-то чревато и что-то сулит. Или – не сулит. Самые яркие и питательные тексты построены по той же модели, только со знаком минус. Пророчески обличительная, трагическая модель эмоционально выигрышнее. Поэтика сама диктует отторжение благополучного варианта».

Каков герой этих текстов? «У этой литературы очень узкий фильтр – из

страшно интересной действительности он пропускает очень мало и обычно самое убогое. Герой ее есть ее отношение к самой себе, т. е. к своей социокультурной группе. Чаще всего это отношение есть квинтэссенция ненависти русского еврейства к самому себе. Русско-еврейская среда описывается в терминах само-разоблачения, самоедства, самооплевывания. Иногда это мотивируется антагонизмом (герой отмежевывается от Израиля), иногда – сионизмом (Израиль отмежевывается от героя). Никакой разницы в видении мира при этом не наблюдается. Человеческий контекст героя и тут, и там – какие-то безъязыкие местные мещане, плоские сабры, обоюдоострые красотки, вечно плошающее альтер эго и неизменно мудрый и человечный седой мистический сосед – «альтер ид». Из-за всего этого сквозит незабвенный стереотип – советская литература о плохом интеллигенте 30-х – 60-х годов. Ужасно жаль, ибо русско-еврейская среда, видимо, исчезнет, и этот интереснейший, уникальный феномен останется незапечатленным».

Итак, перед нами «литература о Гамлете в хаки, представленная в двух вариантах: эпическая схватка героя с антагонистом на фоне сакраментальных холмов Иудеи – либо сатирическая светская (она же молодежная) повесть, где герой встречает чреду монстров и в ужасе «бежит света». Плюс экзотика, милитаристский треск, Восток, цитатный пласт, голени и лодыжки, «пежо» и «рено»...» А что же язык? «В эпическом варианте – авторитарность Солженицына (в его более плоскостной, «максимовской» версии) с то ли булгаковским распевом, то ли библейской инверсией, иногда – с добавкой платоновских «идиотизмов»; в сатирическом – итээровский иронический говорок, в патетических местах – очень мужественный «хэмовский» закус губы, лженабоковизмы. Впрочем, у большинства авторов представлены все стили сразу».

К счастью, эта общеусловная и поверхностная беллетристика не исчерпывает всей русскоязычной литературы в Израиле. «Противясь узости беллетристического шаблона, другие литераторы с успехом сосредотачивались на самой литературе, музыке, нудаике, истории; лучшие книги этих двух десятилетий – небеллетристические, часто – мемуарные». Показательна также реакция литературной молодежи – «от общих мест она кидается к борхесовским логическим гаммам, замкнутым мирам, скучной до скуловорота эзотерике». В этом направлении нередко возникают затейливые стилизации и многоплановые интертекстуальные построения.

В целом, литературная площадка, затоптанная надменным «израильским новичком», постепенно и неизбежно пустеет. «Народ разбегается по иным площадкам – появились позиции израильские, европейские, американские, русофильская, русофобская и заведомо не те и не эти... Похоже, что именно этой опустевшей, вакантной высотке предстоит заселиться «новой волной», прибывшей в Израиль в 90-е годы».

Вывод Е. Толстой представляется убедительным. Новоприбывшие литераторы, уже успевшие активно заявить о себе на израильской русскоязычной сцене, действительно, принесли на нее иные темы, сюжеты, стилевые приемы. Но они пока еще не создали «новой» литературы на русском языке в Израиле. Куда более влиятельным и показательным культурным феноменом, притом напрямую связанным с новой волной репатриации, стала израильская русскоязычная журналистика. Но ее, с позволения сказать, эстетика пока что вполне укладывается в рамки безотрадной картины, нарисованной в докладе Е. Толстой. Это отчетливо показал в своем докладе обозреватель газеты «Время» журналист Антон Носик. Начало его доклада воспроизводило статью, опубликованную им год назад в альманахе Иерусалимского клуба литераторов «Обитаемый остров»: «Русская пресса в Израиле возникла навстречу массовой алии из Шестой Части, а в последнее время делается уже руками самой этой алии... Где-то с 1988 года начали появляться – осторожно, крадучись, ползком – всевозможные издания на «великомучем» языке. К началу 1990-го непосредственно в аэропорту имени и фамилии Бен-Гуриона представились моим новоприбывшим очам в местном киоске «Спутник», «Новости недели», «Наша страна», «Новая панорама», «Феникс», «Эхо», «Зеркало», «Круг», «Алеф» и др. Мог ли я догадываться, что в одном из этих «др.» судьба готовит мне рабочее место у окна?!

Чем продиктовался бурный расцвет русской прессы? Отвечать на этот вопрос ниже достоинства – детям ясно, что алией. Массовым нашествием людей, более одного языка не знающих. Был и способствующий фактор. Алия, не смыслящая по-местному, стала удачной мишенью для коммерческой рекламы. Скажем, за один лишь апрель 1990 года один банк А-Поалим истратил на русскую рекламу от 50 до 100 тысяч долларов – и все эти деньги, как понятно, пошли на развитие и укрепление советскоязычной периодической каиновой печати в стране победившего сионизма. Толчок серьезный, если учесть, что и банк Леуми от собрата не отстал.

Что же она такое – советскоязычная пресса, рожденная навстречу нашествию безъязыкой массы? Сперва, конечно, она была поводырем и мостом: состояла на сто с лишним процентов из переводов местной прессы, причем порою даже со ссылками. Другим ее компонентом были перепечатки из прессы собственно советской, причем перепечатки в совершенно физическом смысле слова, то есть фотокопии. Никто даже не удосуживался перенабрать заново, своим шрифтом, т.п. В результате при чтении этих перепечаток от разнобоя гарнитур рябило в глазах, как при пятибалльной качке.

Однако, долго такая ситуация не могла продолжаться. Читатель, который хронически остается связан неразрывной своей пуповиной с Шестой Частью, не может долго сидеть в классе учеником: в какой-то момент он должен либо сам

научиться, либо – чаще – встать, расправить плечи и всех научить (особенно, если он уже уверился, что его за это не накажут). И вот русскоязычная пресса из читателя воспитала себе автора. Автора новоприбывшего, а потому отменно недорогого. Этот автор вдруг зазвучал с ее страниц в совершенно неожиданном жанре. Он практически вытеснил переводы из местноязычной прессы. Он оказался человеком боевым, агрессивным, мало знающим, но много думающим на любые темы, на все сто уверенным в правоте своего дела и готовым разразиться двумя тысячами слов по любому поводу. Так возникла оригинальная советскоязычная журналистика в Израиле.

Что же за жанр выработал новый советскоязычный автор? Можно назвать его «эпические раздумья на заданный размер в тысячах печатных знаков». Законы жанра предельно строги: непременно должен быть повод для статьи (впрочем, необязательно стоящий выеденного яйца), много иронии, рассуждений и критики окружающей действительности; фактов столько, сколько случилось помнить по данному поводу; основная же особенность отражена в названии – статья кончается не там, где больше нечего добавить, а там, где исчерпано требуемое число знаков. Отсюда рождается специфический язык: там, где многие сказали бы: «Бейкер в... (географическое название)», новая журналистика требует поставить: «Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки господин Джеймс Эрл Бейкер третий, находящийся в данный момент с непродолжительным деловым визитом в... (географическое название)». Там, где можно сказать: «Министр отказался со мною встретиться», – пишется: «Высокопоставленный представитель правящих кругов, кичащихся своим псевдодемократизмом, не изыскал в сокровищнице своего драгоценного времени даже минуты для встречи со столь недостойным представителем рода человеческого, каким является, с точки зрения местного истеблишмента, ваш покорный слуга и корреспондент».

Напрашивается вопрос: зачем читатель это читает и почему предпочитает перепечаткам из местной прессы? Причина ясна: «это» смело и безалаберно; «это» удовлетворяет подспудный спрос на насилие – пусть словесное – над окружающей действительностью. Разве в ивритской прессе можно отыскать такую свободу словоизъявления?! Только здесь так наотмашь, вольно и со свистом дышет человек пивом в лицо «Израиловке» или «грязным нацменам»! Свобода, парение, ветер в парусах!

В последнее время на советскоязычном фронте наметились кое-какие перемены. Во-первых, появилась плеяда русскоязычных постинтеллектуалов – внезапно стали появляться статьи на русском языке на темы культуры и искусства, даже не подражающие стилю незабвенной культуртрегерши Нинели Шаховой из советского телевидения. В лексиконе постинтеллектуалов нет выражений «волнующая встреча», «незабываемое впечатление», «передать свой огромный духовный опыт» и т. п. Напротив, их статьи циничны, насмешливы, пропитаны

«личным» и потому элитарны. Элита же их и читает – страшно далеки они от народа.

Другая перемена – выход газеты «Время». Эта газета в большинстве своих материалов гнет палку в противоположную сторону. Там, где можно было бы сказать «Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»)», во «Времени» напишут: «Картина Л.д.Винчи «М.Л.Джоконда.» Попытка на 16 страницах передать больше правдивой информации, чем во всех конкурентных изданиях, вместе взятых, приводит к совершенно нечеловеческому лаконизму: здесь сокращают любого автора, и оттого профессор Лейбович, Амос Оз и Зеев Бар-Ам уравниваются в стиле за счет непревзойденной лапидарности».

Таково было положение на заре появления массовой русскоязычной прессы, каким оно виделось насмешливому журналисту. Каково оно сейчас? А. Носик продолжает: «Тогдашняя моя статья кончалась прогнозом, со временем почти подтвердившимся: указывалось, что будущее этой прессы определится мерой неуспеха бытовой и культурной абсорбции (чем хуже будет положение репатрианта, тем охотнее продолжит он читать русскоязычную прессу), и на этом основании предрекался значительный рост числа и тиража русскоязычных изданий в Израиле (явление, прискорбное само по себе и свидетельствующее о неблагополучии в деле абсорбции новоприбывших). В конечном счете, успех советскоязычной прессы в Израиле оценивался как шаг на пути его превращения в шестнадцатую республику СССР. Сегодня, в свете общеизвестных событий в Шестой Части, я бы сформулировал это последнее предсказание иначе, но общий смысл его для меня не изменился.

На нынешнем симпозиуме д-р Д. Сливняк напомнил, что выходцы из бывшего СССР – не единственная община, сохранившая в Израиле издания на языке своего рассеяния, – в стране выходят и французские, и испанские, и румынские, и даже итальянские газеты; поэтому нельзя, мол, объявлять верность языку страны исхода специфически советской чертой.

Соглашаясь, в принципе, с высказываниями д-ра Сливняка, я вынужден отметить, что в них, к сожалению, не учтен масштаб явления. Тираж большинства ивритских изданий в Израиле (кроме международных «Джерузалем пост» и «Джерузалем рипорт») колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч в месяц, в то время как тираж местной русскоязычной прессы доходит, по оценкам Союза рекламных агентств, до миллиона экземпляров в неделю! Израильяне, вроде д-ра Сливняка, знающие иврит, но тем не менее предпочитающие русскоязычные издания ивритским по причине душевной склонности, составляют абсолютное меньшинство в общине выходцев из бывшего СССР, и не за их счет продается тот миллион в неделю, о котором говорят нам данные Союза рекламных агентств. Установка на удовлетворение запросов интеллектуальной элиты не является и не может являться основополагающей при формировании

содержания и определении стиля здешней русскоязычной периодики. Она остается массовой. Она и останется таковой, если, конечно же, не сойдет на-нет благодаря внезапному успеху культурной абсорбции новых репатриантов».

Та массовость беллетристической и журналистской русскоязычной продукции, которая подверглась язвительной критике в выступлениях Е. Толстой и А. Носика, может, однако, предстать и в совершенно ином свете, если ее рассматривать в социально-культурном плане. Тогда оказывается, что она выполняет некую полезную роль, самой своей численностью приковывая внимание и утверждая русскоязычный культурный феномен в израильской действительности. В этом плане существует интересное сходство между израильской литературой на русском языке и так называемой «восточной» (сефардской) музыкальной культурой в Израиле, на которое обратил внимание писатель-«старожил» Илья Зунделевич. «Постоянная озабоченность доказательством своей принадлежности к культуре Израиля не является специфической для русско-говорящей общины – не менее горячие споры бушуют, например, между израильским музыкальным истеблишментом и исполнителями и продюсерами восточной музыки. Репатриант из бывшего СССР – в большинстве своем – бывший житель больших городов, усвоивший неистребимую привычку читать в транспорте, за едой и в уборной. Свойство литературы убивать время оказывается для него не менее важным, чем восприятие печатного текста как истины в последней инстанции». Но это чтение «ничем не отличается по своей функциональности от распевания песен восточным человеком». В конце концов, «всякому ясно, что, сидя верхом на верблюде под знойным солнцем Северной Африки, не очень-то считаешь». Возможно, это объясняет, почему «восточная община Израиля прекрасно обошлась без создания собственного книжно-газетного заповедника. Зато она создала свою музыкально-песенную культуру – как на языках стран исхода, так и на иврите. Создатели этого культурного феномена находятся в ситуации, аналогичной положению русскоязычных писателей, – они тоже изо всех сил стремятся доказать музыкальному истеблишменту свою принадлежность к израильской культуре. Истеблишмент, разумеется, отказывает им в этом, а сами музыканты с неменьшей уверенностью объясняют конфликт ашкеназийским расизмом». В то же время «восточная музыка является притягательной сферой для вливания белых, черных и серых шекелей в количестве сотен миллионов; стало быть, это явление, независимо от признания или непризнания большого начальства, существует и кормит большое количество народа». Даже «культурная оппозиция» сдается перед этим напором: «Прожив лет двадцать под знойным небом Палестины, уже не представляешь себе привычного музыкального фона без «аль а-дваш ве аль а-кефак» и не кричишь: «Маня, куда ты меня привезла?!» – очередной раз услышав звук зурны из окна соседа. Масса берет свое, и каждодневный уклад становится второй натурой... При этом вопрос

качества не имеет никакого отношения к самому факту существования явления. Качество, как известно, имеет много гитик. В случае восточной музыки оно колеблется от «розы-морозы» до блестящих образцов городского романа. Примером русскоязычного эквивалента, иллюстрирующего к тому же проблематику доказательства «принадлежности», может служить такой, скажем, текст неизвестного поэта, скрывшегося под псевдонимом Аркадий: «5 июня содрогнулось небо./ содрогнулось небо./ с матушкой-землей./ То враги Израиля выступили, гневно./ против жизни славной./ в стороне святой./ Надвигались грозно, злобы не тая./ танковые орды./ смерть с собой неся./ Но не дрогнул маленький./ народ наш старенький./ Не впервые видел он./ смерть и шигаон.» Народу старенькому, действительно, не пристало бежать причастности, тем более, что русскоязычного литератора и читателя шигаоном не напугаешь».

Свое, лишь наполовину юмористическое, выступление И. Зунделевич кончил вполне «серьезным» предложением: «Создать общественное движение русскодумающих литераторов и восточнопоющих музыкантов в целях лоббирования израильского истеблишмента для признания нашей всеобщей культурной неделимости».

Вполне уже серьезно, даже академично о взаимоотношениях русскоязычной литературы с израильской и русской говорил поэт Михаил Генделев, один из создателей самого термина «израильская русскоязычная литература»: «За истекшие 20 лет носители русского языка создали в Израиле весьма специфический вид словесности. В каком-то смысле – хотя бы в историческом – она является частью израильской культуры». Разумеется, эта литература пишется на русском языке, но язык, утверждает Генделев, – это всего лишь «материал». Более того, «внутри цивилизации может существовать особый язык, специально предназначенный для литературы, как в свое время латынь или арамейский. В том же смысле можно говорить, что русский язык в Израиле является таким «литературным языком» для пишущих на нем, – в то время как обиходным языком нашего этноса является иврит. Здесь нет противоречий. Языковое единство еще не предопределяет единства культурного. Канадская литература на французском языке – это отнюдь не французская литература, латиноамериканская литература на испанском языке – отнюдь не испанская литература, австралийская, новозеландская или нигерийская литературы на английском языке не являются английскими». Не язык, а отражаемая действительность (в том числе и «внутренняя действительность» авторского сознания) определяет культурную принадлежность той или иной литературы. Но по той же причине русскоязычная литература в Израиле не является и продолжением тех или иных видов еврейской литературы в России. «Она не есть продолжение русско-еврейской литературы галута (которую искусственно пытаются возродить сейчас деятели ВААДа в России); но она не является также и продолжением советско-еврейской литературы, которую

Шимон Маркиш назвал некогда самой крупной инациональной группой в СССР. Наша задача не состоит в том, чтобы воспроизводить в Израиле галутную литературу, оставаться в галутном гетто внутри страны. Не состоит она и в том, чтобы воспроизводить русскую литературу диаспоры», т. е. эмигрантскую литературу. Иными словами, позиция «русского писателя в Израиле», равно как и позиция «писателя-эмигранта» являются одинаково искусственными и неплодотворными – в этом М. Генделев сходится с Ю. Карабчиевским и другими. Но вывод из этого у него иной: русскоязычный писатель в Израиле должен осознанно принять установку на создание израильской литературы на русском языке («что мы хотим понимать под израильской русскоязычной литературой», как сказал Д. Кудрявцев). Группа литераторов, прибывшая в страну в 70-е годы, исходила именно из такой установки. Но, по Генделеву, это не имело ничего общего с той «советизацией» и «идеологическим обособлением», о которых говорила Е. Игнатова. Эта опасность возникла только сегодня, с прибытием алии 90-х годов, «репродуцирующей в Израиле определенный тип сознания, которое можно назвать советским или постсоветским. Оно становится количественно доминирующей и угрожает превратить русскоязычную литературу Израиля в литературу на советском языке». По убеждению Генделева, «ни о каком искусственном, основанном на ксенофобии, обособлении «подлинно русскоязычной» израильской литературы от русской не может быть и речи». В то же время он подчеркнул, что между обеими литературами существует объективное различие. «Русскоязычная литература в Израиле представляет собой местный, израильский культурный феномен, это культурная рефлексия на ту страну, ту цивилизацию, к которой мы сегодня принадлежим».

Но различия существуют и между русскоязычной литературой Израиля и собственно израильской культурой. «Израильская культура опирается, естественно, на еврейские традиции, русскоязычная – на русские. Ивритская литература обращается, в первую очередь, к действительности Израиля, а в своих аллюзивных рядах – конечно, к Танаху, который находится «на слуху» у любого израильского школьника. Русскоязычная литература вынуждена обращаться, прежде всего, к истории... Наконец, израильская литература куда больше опирается на европейскую традицию». Эти различия, по Генделеву, не делают русскоязычную литературу второсортной – они лишь определяют ее как особое, самостоятельное культурное явление израильской жизни. «Я не призываю деятелей культуры «объевреить» свою литературу и тем самым приблизить ее к израильской; это искусственно не получится». Русскоязычная литература в Израиле должна продолжать свой особый путь, находя источники вдохновения в своем двойственном качестве наследницы классической русской традиции и участницы общенраильского культурного процесса.

Тему взаимоотношений русскоязычной и израильской культур продолжил

писатель и журналист доктор Дмитрий Сливняк. «Израильское общество, – сказал он, – уникально, и попытки осмыслить его, исходя из существующих моделей, обречены на провал. Аналогии с классическими иммигрантскими обществами здесь могут иметь лишь ограниченное значение. Люди, приехавшие в Израиль, – иммигранты особого рода: помимо осознания собственного перемещения в другое место, они чаще всего еще ощущают, что вернулись домой, «к себе истинным». Поэтому и в культурном плане их поведение порой сложнее поведения иммигрантов в других странах».

Д.Сливняк предложил свою, точнее – заимствованную аналогию, позволяющую, по его мнению, лучше понять культурную ситуацию в такой «стране репатриантов». «По мнению израильского эссеиста Иорама Броновского, для иммигрантских культур характерно противостояние «краснокожих» и «бледнолицых» – тех, кто в культурном плане отождествляет себя с местом проживания и стремится к выработке адекватной ему поэтики, и тех, кто стремится к сохранению культурных парадигм стран исхода. При этом «краснокожие» – не обязательно уроженцы страны, а «бледнолицые» – не обязательно иммигранты в первом поколении. Так, в американской культуре прошлого века типичным «краснокожим» был Уитмен, а типичным «бледнолицым» – Эдгар По. В израильской культуре недавнего прошлого «краснокожие» – Ионатан Ратош и Дан Бен-Амоц, «бледнолицые» – Лея Гольдберг и Шмуэль-Иосеф Агнон.

Культурно активная часть «русской» алии 70-х годов в значительной своей части не отождествляла себя с Россией и ее культурой, но и на иврит не перешла. Она не могла перейти на иврит, потому что ее предшественники, пионеры израильской литературы, уже ее опередили, создав фактически на пустом месте многофункциональную ивритскую культуру. Но «русские» литераторы 70-х годов не стали идти проторенными путями: консервировать культуру страны исхода или усваивать культуру локального большинства; подобно израильским пионерам, они избрали третий, уникальный путь: строительство собственных парадигм из подручного материала. Писатели-репатрианты поставили перед собой интереснейшую задачу – выразить самоощущение еврея-израильянина средствами русского языка».

Эта формулировка общей «сверхтемы» израильской русскоязычной литературы как бы снимает упрек в непривязанности ее к израильской действительности, высказанный ранее некоторыми докладчиками симпозиума. «Такая задача сродни задаче художественного перевода и может быть сформулирована как чисто языковая, в принципе не требующая даже наличия читателя. Сложность – в необходимости преодолеть невольное влияние языка (русского, да еще оскверненного советским употреблением) на мироощущение писателя и подключиться к мощному, многовековому цитатному полю, в котором с самого своего рождения живет еврейская цивилизация. По-русски намного проще цитировать

Державина, чем Шнеур-Залмана, и только редким писателям, вроде Кирилла Тынтарева, удавалось заставить зазвучать еврейское наследие хотя бы в кабалистических топонимах, вроде Эмек А-Хесед или Маале-Гвур...» Тем не менее Д. Сливняк с оптимизмом смотрит в будущее. «Израильская культура первоначально не принимала нас даже в качестве «бледнолицых»... Эта позиция понятна: при всем своем декларативном сионизме русскоязычные литераторы своим творчеством ставили под сомнение одно из основных положений местной культурной революции – необходимость перехода на иврит. Лишь намного позже, когда коренной Израиль стал куда более открытым и менее уверенным в себе, тот же Бронзовский признал, что современная израильская культура немислима, например, без Майи Каганской... К тому же прибыли писатели и поэты новой, большой алии, смотрящие на мир не так, как репатрианты 70-х годов, и русскоязычная культурная община расслоилась на собственных «краснокожих» и «бледнолицых». Ну, а всякая гетерогенность для культуры – благо, и потому гляжу вперед я без боязни: ситуация перспективна и плодотворна».

Отношения культур, в том числе русскоязычной и израильской, задаются их отношениями с действительностью, то есть, в конечном счете, позицией, которую занимает по отношению к действительности автор. Типичные позиции русскоязычных литераторов в Израиле были подробно проанализированы в содержательном докладе доктора филологических наук литературоведа Михаила Вайскопфа. «Если отвлечься от схоластических споров, – сказал он, – то придется признать, что вопрос о «русскоязычности» или «русскости» писателя в Израиле всецело зависит от идеологической ориентации и самоидентификации автора, то есть от достаточно зыбкой основы, на которой невозможно строить какое-либо серьезное теоретизирование. Следовательно, наиболее простое деление литературы, которое можно провести, да и то достаточно условно, – это как раз ее деление на эмигрантскую и отождествляющую себя с Израилем. Но возможно и другое деление, на мой взгляд, более продуктивное, потому позволяющее хоть как-то соотнестись с эмпирикой литературных явлений. Это – деление литературы на старую и новую. Мы знаем «старую» алию 70-х годов, которая породила достаточно обширную литературную продукцию – возможно, ее опыт позволит как-то спрогнозировать ситуацию, которая ожидает «новую» литературную алию 90-х годов.

Впрочем, возможность такой экстраполяции крайне ограничена именно спецификой этой новой алии. Алия 70-х годов, как тут уже не раз говорилось, была алией идеологической. Она в значительной своей части отталкивалась от существовавших советских структур. Нынешняя алия протекает в совершенно иных условиях, на фоне чудовищного морального, политического и культурного краха России. Возможно, конечно, что обстоятельства изменятся; не исключено, что произойдет процесс демократизации и стабилизации; и тогда здешняя

литература может начать отчетливо ориентироваться на эту новую, привлекательную Россию, что приведет ее к полному разладу со здешней реальностью. Но возможен и другой вариант, для России более мрачный, и тогда мы получим отчетливо национальную ориентацию русской литературы в Израиле.

Итак, в чем заключается опыт литературной алии 70-х годов? Я рассмотрю несколько теоретических вариантов и попытаюсь подкрепить их практическими иллюстрациями. Один из вариантов социо-идеологической ориентации русскоязычного литератора в Израиле – это отталкивание от новой действительности, полное ее неприятие. С чисто литературной точки зрения это вполне продуктивная позиция, как показывает хотя бы пример Юрия Милославского. В принципе она венчается весьма агрессивным православием или, в некоторых случаях, славянофильством. Она, повторяю, перспективна в смысле литературном, но совершенно бесплодна в плане развития израильской культуры. Ее модификация – это внутренняя эмиграция, полное отчуждение и т. п.

Другая возможная позиция – это отношение к Израилю как к экзотике – от экзотики враждебной до экзотики страшно увлекательной, порождающей некий вариант военно-колониальной прозы. Практические реализации этой схемы встречаются очень часто.

Третий вариант – проекция неких советских моделей на израильский опыт. В 70-е годы мы получали в огромных количествах так называемую «парашную прозу», романы о лагерях, обличения советской власти, отчасти в сионистском (порой очень резком) заострении. Были и другие проекции, вроде «молодежной прозы», влияние которой можно обнаружить в произведениях Марка Зайчика и других. С другой стороны, журнал «Сион», например, был, на мой взгляд, израильской проекцией русского «почвенничества».

Наконец, возможна еще и литература «сервилистского» толка – казенная, официальная «сохнутская» агитка. Алия 70-х годов дала образцы и такого рода литературы.

Для появления подлинно новой литературы оставался, по всей видимости, один только выход: писатель должен был таким образом переосмыслить свое пребывание в Израиле, чтобы соотнести свою личную судьбу с тем колоссальным событием, которое мы называем завершением истории восточноевропейского еврейства. Это событие действительно грандиозного масштаба, и здесь приходится повторить вслед за Тыняновым (а также за Троцким, которого Тынянов отчасти повторяет), что мы находимся в ситуации «литературного промежутка»: столь грандиозные события, как правило, не охватываются при жизни участвующего в них поколения. Но в нашем случае ситуация осложняется тем, что второе поколение уже будет, скорее всего, писать на другом языке.

Здесь намечается возможность еще одной позиции: писатель идет в сторону самоотожествления, самоидентификации с Израилем, которое в пределе

чревато его полным растворением в израильской культуре, то есть переходом на иврит. Но если этот парадокс не поддается реализации и писатель остается в сфере русского языка, он начинает строить свое собственное, автономное пространство и искать такую точку зрения, с которой все процессы, происходящие с ним и вокруг него, поддаются некой объективной, внеположной оценке. Такая точка зрения может быть только эпически-объективистской. И мы действительно видим практические примеры такой позиции. В поэзии это эпические установки Михаила Генделева и отчасти Анри Волохонского в его «Тивериадских циклах», в прозе ярчайшим образчиком сионистского эпоса стал роман Эли Люксембурга «Десятый голод».

Взятые вместе, все эти позиции образуют столь пестрый спектр, что, например, журнал «Двадцать два», пытающийся адекватно отразить русскоязычный литературный процесс в Израиле, постоянно получает упреки в «аморфности», «рыхлости» и «безликости», хотя в действительности аморфен и не поддается общей оценке именно этот литературный процесс, условно называемый израильской русскоязычной литературой.

Наконец, я хотел бы сказать о еще одной возможности, открывающейся для русскоязычного литератора в Израиле. Это – эссенстика. Выбор позиции эссеиста позволяет отойти на такую дистанцию, с которой Россия поддается взгляду извне, а тогда открывается возможность постепенного перехода эссеиста к самоидентификации с Израилем и обращения к израильским темам. Такую эволюцию мы видели в творчестве Майи Каганской и Зеева Бар-Селлы. Вполне вероятно, что она подстерегает и нашего нынешнего лучшего эссеиста Александра Гольдштейна.

Возможна ли конвергенция? В целом, возможна. Мы уже имеем израильский соц-арт, который ориентируется на «Третью волну», но пытается быть соц-артом сионистского толка. Не исключено, что воскреснет почвенничество, и портяночная ностальгия В. Распутина тоже найдет свое «сионистское» выражение. Пример Израйля Шамира, который с леволиберальных, палестинофильских, руссоистских позиций спланировал к «Нашему современнику», в этом смысле весьма показателен. По всем этим причинам прогнозировать эволюцию новой русскоязычной литературы в Израиле весьма затруднительно; можно говорить, разве что, о спектре типичных позиций, по которым распределится большинство новоприбывших литераторов».

Доклад М. Вайскопфа был вынужденно ограничен одними лишь беглыми примерами главных теоретических положений; развернутой иллюстрацией к нему стали выступления двух поэтов – нового репатрианта Александра Бараша и «старожила» Александра Верника. Их сообщения одновременно были как бы и творческим самоанализом авторов двух поколений, своего рода декларацией той «социо-идеологической» и литературной позиции, о которой говорил

М.Вайскопф.

А.Бараш говорил о самоощущении литератора, недавно прибывшего в страну, еще сохраняющего живые связи с только что покинутым культурным полем русской литературы и в то же время уже успевшего трезво оценить возможности и ограничения новой ситуации. Для него неприемлема мысль о каком-то противопоставлении русскоязычной и русской литератур, но столь же сомнительно и утверждение, будто первая есть лишь «географическая провинция» второй. «Русская литература в России и в Израиле: контакт или конфликт, – адресовался он к названию симпозиума и сам ответил на подразумеваемый этим названием вопрос: – Ни то, ни другое, так как при такой постановке вопроса предполагается наличие двух разных «тел», априорно чужеродных. Между тем, до тех пор, пока русские писатели Израиля пишут по-русски, они являются частью одного, общего тела русской литературы. Любители могут спекулировать, кто является какой частью, но интересней – в этом рассмотрении, – что сейчас любая «местная отрасль» русской литературы, в Москве, Риге или Иерусалиме, периферийна по отношению к центру, расположенному на временной, а не географической оси: все мы равно провинциальны, а наша столица – великая русская словесность начала 19 – начала 20 веков».

Отношения между двумя литературами, по мнению Бараша, куда лучше характеризуются словом «капиллярность». «В СНГ после репатриации евреев и породненных лиц стало, среди прочего, на несколько десятков литераторов «жиже», в Израиле – гуще. Что теперь? Взглянем на ситуацию как бы изнутри – с точки зрения условий существования литератора. Есть плюсы и минусы и там, в России, и здесь, в Израиле. Плюсы в России: несоизмеримо больший масштаб; есть, скажем, по несколько групп схожей эстетической ориентации, что порождает здоровое соперничество среди «своих», не говоря уже о «чужих». Россия, как и Европа и Северная Америка, в метафизическом смысле страна нейтральная, то есть это не резиденция далай-ламы и не Иерусалим, в ней возможны все виды мироощущений, состояний, нюансов; Иерусалим же и вся наша Страна Израиля в очень сильной степени детерминируют довольно узкий спектр состояний, в жестких сочетаниях, без переходных оттенков. Наконец, в России есть роскошь пребывания в стране того языка, на котором пишешь. Но это именно роскошь, то есть то, без чего можно обойтись, но что избавляет от целого ряда комплексов и «неразрешенностей».

Во всех этих плюсах содержатся, как водится, минусы. Взглянем с тех же точек обзора на ситуацию русского писателя в Израиле. Меньше людей, меньше напряжения – значит, и большая «чистота» персональной ситуации, ты почти один на один с собой и со своими возможностями; более точный экзистенциальный, личный и творческий эксперимент. Уже и жестче спектр состояний, отсутствие оттенков и нюансов – соответственно, ты жестче поставлен перед

выбором, не можешь уклониться от «да» или «нет». «Как бы» – не проходит. В отличие от России, говоря «как бы», ты не отражаешь ничего, не соотносишься ни с какой реальностью. Потеря роскоши пребывания в стране своего языка – это тоже вид освобождения, приближения к себе и к сердцевине языка, с которым оказываешься в еще более трепетной связи. В целом, в Израиле мы в более ясной, четкой и конструктивной ситуации; здесь мы можем говорить от первого лица, не боясь быть ретроградами, если нас это волнует, потому что, во-первых, во всем, кроме языка, мы живем в стране, где это естественно и необходимо, а во-вторых, потому что положение – и жизненное, и языковое – каждого из нас настолько постмодернистское, что актуальность и адекватность гарантированы уж не в меньшей степени, чем в России. И вообще любопытно вспомнить, что миф репатрианта или эмигранта – это, в принципе, наиболее характерный миф 20 века. Таким образом, перед каждым из нас и тут, в зависимости от пристальности и одновременно живости взгляда, открываются вдохновляющие перспективы или воздушные ямы».

В отличие от А. Бараша, А. Верник говорил с позиций «старожила», уже прошедшего те этапы творческого освоения новой действительности, которые А. Бараш видит еще как «перспективы». В сущности, он рассказал о том процессе, который, в терминах Сливняка-Броновского, можно было бы назвать трансформацией из «бледнолицого» в «краснокожего». «Тема перемен, происходящих в Израиле с пишущим по-русски, наилучшим образом может быть раскрыта через иллюстративный материал, – сказал он. – И, по-видимому, нет более адекватной иллюстрации, нежели пример собственных писаний. Рискну предложить себя подопытным кроликом, эксперимент над которым поставлен жизнью и литературой».

По Вернику, трансформация, неизбежно переживаемая русским литератором в Израиле, начинается с «воприятия энергетического поля новой, ставшей, наконец, реальной, жизни и попытки ему внятно соответствовать», что, однако, не только не исключает «ретроспекта в память и сладкой боли по утраченному», но, скорее, их требуют. «Израиль и его средоточие Иерусалим обязывают автора к адекватности им и продуцируют такую адекватность. Здесь писатель и, безусловно, лирический поэт оказываются втянутыми в особую биографию, географию, магию и метафизику». Состояние «транзитного пассажира в литературе» заведомо исключено, поскольку «ты сам же и являешься гражданином выбранной тобою страны, нерусалимским горожанином, героем текста». Но адекватность приходит не сразу: ей предшествуют этапы мучительных поисков. «Первый: задолго до отъезда – выпадение из культурно-экзистенциальной парадигмы оставляемой страны, двухлетнее – год до и год после – неписание, отчаяние, и затем – первое стихотворение в Израиле. «Теперь не память, а забвеньё/ осипло голосит листва./ Как страшно наше поколение –/ Иван, не помнящий родства./

Так холодно в моей квартире/ и лица все нехороши,/ как будто умер Бог, и в мире/ нет ни одной живой души.»

Этап второй: невольное соотнесение себя поначалу с опытом русской пост-революционной литературной эмиграции, иными словами – с концом биографии, как литературной, так и фактологической: «... когда провалом в пол-лица/ судьба явилась мне./ И так она была грустна./ что день в саду погас./ И обернулась сном весна./ и нас Господь не спас./ И никого из бывших нас/ не сберегла звезда.../ И нынешний недобрый час/ открылся мне тогда».

Этап третий: попытка обретения творческой независимости и неуверенное обнаружение себя в поле культурно-экзистенциальной парадигмы новой страны; иная рефлексия; неоднозначная, не обещающая гармонии привязка к новому опыту – и, в конце концов, вопреки всему, декларируемое решение «жить добровольно»: «Видать, в облюбованной Богом стране/ что-то не больно можетя мне./ Все остальное – больно./ Было б разумней не жить вполне./ Впрочем, живу добровольно».

Этап четвертый: остранение прежнего опыта, появление новых ориентиров, соотнесение собственного поэтического опыта с опытом других, пишущих по-русски в Израиле, и опора на этот опыт как на некий рождающийся прецедент: «... Вступить пытаться (далее число –/ не помню точно) в воду (вспомнил!) дважды –/ бессмысленно, а главное – порочно./ поскольку (сбился, как же! – пронесло)/ в Ерусалиме нет воды проточной./ а все ключи не утоляют жажды./ особенно, когда стоит хамсин./ Тут впору сдохнуть, одуреть, рехнуться./ рвануть сорочку из последних сил./ за валидом ринуться, проснуться./ и первое, что сделать не забыть –/ все вспомнить: голос, сад над бездной./ Расплакаться и вновь пуститься жить –/ мучительно, прекрасно, бесполезно.»

Этап пятый: метафизическая автономия в новой литературной парадигме и приобретаемая свобода в использовании аллюзий к русской поэзии; изменение этих аллюзий, связанное с новой биографической и литературной реальностью: «Мне не поднять руки: мешает знанье./ мне слова не сказать: мешает ремесло./ А время шло, и пряталось сознанье./ и не умел увидеть я, как время шло./ Но не менялся, между тем, порядок мирозданья./ я лодку к берегу хотел – да треснуло весло./ А мне казалось: на корме нас четверо сидело –/ один сошел, на дне другой, а третий изменил./ Или команду предал я? Но разве в этом дело!/ Я выбрал море поюжней и моряков сменил./ и, корневую рифму расположив умело./ весло отладил и флажок на мачте смастерил./ Теперь всего, казалось бы, на лодке вдосталь будет./ теперь должно, казалось бы, отменно повезти./ а если что-нибудь не так – ну, кто кого осудит?! Всего-то ерунда, пустяк: на весла – и грести./ Глаголы парные сложить и громко крикнуть: Люди!/ Ступайте, знаете куда. Счастливого пути».

В конечном итоге, для самого себя, – заключил А. Вершик, – «речь, безусловно,

идет о ситуации «свободного выбора», волевого решения, самоидентификации... Излишне говорить, что, поскольку творчество не является слепком события, описанные выше этапы могут повторяться, варьировать и исчезать».

И хотя А. Верник утверждал, что «предложенный иллюстративный материал, конечно же, не является строгой концепцией», он убедительнее многих строгих концепций засвидетельствовал творческую плодотворность израильской ситуации русскоязычного литератора, на которой настаивал Д. Сливняк и о которой говорил А. Бараш.

Другую иллюстрацию того же тезиса предложил – на более близком себе материале – журналист и драматург, редактор сатирического еженедельника «Беседер» Марк Галесник, выступивший с сообщением под шокирующе «идеологизированным» названием «Сионизм как источник трагического конфликта в драматургии». На самом деле это было продолжением разговора о новых творческих возможностях литераторов-репатриантов в стране, являющейся страной репатриантов. «Пытаясь сгруппировать причины, образующие трагический конфликт в любом классическом сюжете, – сказал М. Галесник, – мы находим два источника, веками питавших искусство трагедии: вопросы имущества, отражающие отношение человека к неодушевленному объекту, и вопросы крови, охватывающие проблемы родства, кровосмешательства, насильственной смерти, любви и жизни как физических явлений и т. п. Классические европейские антропоцентрическое общество неизменно создавало почву для них. В то же время в еврейской традиции подобные конфликты никогда не становились сюжетноопределяющими. Перенос акцента из сферы отношений народа с Богом в сферу межличностных отношений попросту выводил конфликт из еврейской мировоззренческой традиции, которая моделировала временно и сам конфликт, и пути его разрешения».

Как известно, идея сионизма провозглашает возвращение евреев на отчасти мифологическую родину. На этническом уровне реализуется колоссальнейший интеграционный процесс века, если не тысячелетия. В этом процессе центробежная сила движения, существующая одновременно с центростремительной, создает почву для трагического конфликта. Как емко выразил эту идею один чиновный московский литератор, «центробежная сила нашего единения». Еврейская специфика конфликта, его парадоксальность и неразрешимость заключаются именно в надличностном, этническом уровне процесса и обеспечена тем, что этническая воля суммарно сильнее воли субъекта, но энергетически слабее, более размыта и неопределенна, менее универсальна. Субъекты этого конфликта одновременно и противопоставлены друг другу, и неразрывно связаны, что и является необходимым условием для формирования трагического, т. е. исключаящего компромисс, узла страстей. Трагическая предпосылка про-

цесса объединения состоит в том, что, начав процесс, народ уже не может его остановить.

Какие очертания примет он? На сегодняшний день черты этого будущего конфликта выражаются только в форме взаимных претензий всех ко всем: переселенцев к аборигенам, секулярной части общества к клерикальной, бедной к богатой, – а также в форме традиционного арабо-еврейского противостояния.

Для того, чтобы один из этих мотивов (или все, вместе взятые) стал определяющим в трагическом конфликте будущей израильской драматургии, должно произойти нечто, в чем это может проявиться. Условия для такого сверхсобытия уже созданы завоеваниями сионизма, и можно предполагать, что в недалеком будущем израильская драматургия получит от израильской действительности мощный импульс для своего развития».

Если мысленно обозреть все двадцать докладов симпозиума и многочисленные выступления в прениях (часть из них, к сожалению, не вошла в этот краткий обзор за недостатком места), то бросается в глаза одно обстоятельство: основной водораздел прошел даже не между сторонниками и противниками тезиса об особой «израильской русскоязычной литературе», не между ее хулителями и апологетами, а – между пессимистами и оптимистами. И какую бы теоретическую базу они ни подводили под свои декларации, ясно, что главную роль в этом размежевании играли личный темперамент и общее интуитивное ощущение ситуации и ее перспектив. Завершая симпозиум, литературовед-германист доктор Владимир Орел взял сторону «оптимистов»: «Господа, – сказал он, обращаясь к полусотне участников симпозиума, – два рабочих дня мы с вами истратили на решение одной – более или менее второстепенной – историко-культурной задачи... и не решили ее, чего и можно было ожидать заранее. Но Бог с ней, с задачей, – по ходу дела мы достигли многого в области public relations: одни выступили, другие послушали, третьи поаплодировали, и, таким образом, знакомство состоялось или углубилось».

Русские евреи в Израиле – мы с вами в том числе – образуют легко опознаваемую и наделенную набором отличительных признаков общину. Такую же, как грузинская, иракская, марокканская и т. д. У каждой из этих общин – свой широко известный инвентарь качеств, как и у нас, только качества эти – другие. И если грузинская община активно и с честью для себя включилась в израильский малый бизнес (кстати, кому придет в голову назвать этот бизнес не израильским, а грузинским?), а польская община доминирует в политической жизни (опять-таки израильской, а не польской), то русские евреи зацепили своими цепкими щупальцами науку, прессу и belles lettres. Пока это газеты и книги по-русски. Погодите еще лет пять-десять – то ли еще будет! Так или иначе, литература и печать – сфера, где русские сегодня стремятся доминировать. Они и будут в ней доминировать. И потому то, что создают по-русски русские евреи в Израиле, –

это израильская литература, как узбекская литература СССР – литература советская.

В отличие, скажем, от США или Франции, Израиль не является страной массовой эмиграции. Израиль – страна массовой репатриации. Поэтому-то несравнимы с израильскими русскими писателями те русские литераторы, которые, эмигрировав на Запад, остались частью России и русской словесности. Лимонов и Солженицын – русские советские писатели и останутся таковыми, прежде всего, в силу собственного самосознания, где бы они ни жили. Вероятно, некоторые такие литераторы, бездарные и талантливые, проживают и в государстве Израиль, но ведь не о них речь! Речь о евреях из России, избравших Израиль своей второй родиной и продолжающих писать по-русски. Нас просто сбивает с толку, что типологически подобный казус: переселение целой этнической группы, отождествившей себя с новой страной проживания, – явление исторически редкое. Редкое, но вполне реальное.

В ходе двух наших встреч было высказано много разных мыслей, на которые публика особого внимания не обратила. Однако, три-четыре мысли разного достоинства вызвали какой-то отклик. Поскольку случилось это всего несколько раз, моя задача элементарно проста – напомнить вам об этих мыслях снова.

1. Огромную по эмоциональному накалу реакцию вызвало суждение о том, что литература ориентирована на «бессмертие», то есть на длительное существование после смерти автора. Суждение хорошее, но уже высказанное до г-на Карабчиевского Квинтом Горацием Флакком, а потому не столь интересное, как могло бы показаться.

2. Из этой мысли покойного римского поэта г-н Карабчиевский и многие другие выступавшие сделали, однако, вывод, который кажется мне совершенно бессмысленным. В лапидарной форме выразил его, например, г-н Бараш: «Значит, – сказал он, – нам говорят, что нас нет». Это, действительно, оскорбительно, и именно это, я думаю, и имелось в виду. Нас нет, потому что через два поколения в Израиле никто не будет читать худлитературу по-русски. Вот с этим Гораций, знавший, кроме латыни, и другие иностранные языки и не видевший никакой связи между бессмертием творчества и его языковой оболочкой, никогда бы не согласился.

Таким образом, опасность забвения русским писателям Израиля не угрожает: их не забудут даже через 2 тысячи лет, как и Горация, если они будут писать хорошо. Смерть языка не есть смерть литературы, а сама литература, как бы того ни хотелось нашим уважаемым коллегам, не есть дело коллективное, роевое, всенародно-патриотическое. Каждый в нем отвечает сам за себя, каждый обеспечивает себе бессмертие в силу своих собственных сил и способностей. Даже если пишет по-русски.

3. Говорилось в этом зале и о том, что наша – израильская русская – литература

идеологически зашорена и нетерпима, чем напоминает отчасти советскую, 30-х годов. Согласен целиком и полностью с сутью обвинения, но не могу принять ни сравнения именно с советской литературой 30-х годов, ни самой идеи, что в идеологической зашоренности нужно обвинять. Да, израильские русские писатели идеологически зашорены и нетерпимы, как Аристофан и Софокл, Гораций и Катулл, Чосер и Шекспир, Вийон и Рабле, наконец, черт возьми, как Толстой и Достоевский. И если некоторые из них – не лично, а хотя бы заочно – знакомы г-же Игнатовой, она, я надеюсь, убедится в том, что претензии ее к израильской русской литературе даже слишком обоснованы – это претензии ко всему мировому литературному процессу, ко всему человечеству в целом, к каждому человеческому существу, в том числе, к самой г-же Игнатовой.

Кстати, что такое «израильская идеологическая зашоренность и нетерпимость»? По-моему, это такое коварное наименование сионизма.

4. Говорилось здесь – как бы в продолжение того, что обеспокоило г-жу Игнатову, – и о том, как идеологическая ограниченность тех, кто держит под контролем израильскую русскую словесность, препятствует продвижению талантов и поощряет литературную серость – лишь бы та соответствовала некому тематическому стандарту. На это совершенно справедливо – пусть и с нескрываемой личной горечью – указал в своем выступлении д-р Штейнер, сославшись на конкурс в не названной им газете. Результаты конкурса были, как я понял, плачевны: политически благонамеренные бездарности и графоманы расхватали призовые места, подлинное искусство осталось за бортом. Но чего еще, господа, ожидать от литературного конкурса в газете? На то она и газета. Вот если бы мы сейчас провели литературный конкурс здесь, в нашем зале, уж мы бы знали, кого наградить лаврами за идеологическую беспристрастность и высокую художественность, можете не сомневаться.

Мысли этого сорта, мысли, на которые откликнулась публика, герой Ивана Сергеевича Тургенева Базаров называл «отрицательное общее место». Цель их – поразить воображение парадоксом, которого на самом деле нет. Хочется успокоить: что бы здесь ни говорилось, вы, израильские русские писатели, есть. Это парадокса нет. И, с Божьей помощью, не будет».